
18+

Борис Колмогорцев
Накорми меня?!

https://litres.ru/74785142
SelfPub; 2026

Аннотация

«Накорми меня?!» — тонкая и пронзительная психологическая повесть о том, что бывает, когда двое пытаются утолить недетский голод за счёт друг друга.

В этой истории нет мистики и клыков. Слово «вампир» здесь взято из повседневности — так называют людей, рядом с которыми чувствуешь себя выжатым лимоном. Главная героиня, меняющая имена и застрявшая в детских травмах, ищет того, кто подтвердит её существование своим взглядом. Её случайный знакомый, а затем и муж — человек, который умеет говорить о высоком, но неизменно возвращается к собственным страхам. Их союз — это столкновение двух пустых колодцев, бросающих камни в темноту.

Спустя пятнадцать лет они встретят тех, кто остался в прошлом, и попробуют понять, чем была их жизнь — любовью, зависимостью или попыткой спастись. А в эпилоге слово получат те, кто вовремя ушёл, выбрал «скучную» нормальность, тишину, простые дела и научился жить без надрыва.

Содержание

Накорми меня?! 4
От автора 5
Часть первая. Глеб 7
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Борис Колмогорцев
Накорми меня?!

Накорми меня?!

Новелла в четырёх частях

«Я стал нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я её отрезал и бросил…» — М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»

От автора

В этой новелле нет ни клыков, ни гробов, ни лунных ночей. Слово «вампир» я взял взаймы у обычной жизни, где оно давно живёт без всякой мистики: так говорят о тех, после общения с кем чувствуешь себя пустым, как выжатый лимон. Мы все встречали таких людей. Многие из нас, если быть честными, хоть раз в жизни оказывались такими сами.

Я хотел написать о голоде. О том, что бывает с человеком, которому в детстве не хватило любви или которому её дали не так и не те, и что он потом делает с теми, кто оказывается рядом. Одни требуют внимания, выстраивая скандалы, чтобы убедиться, что они существуют. Другие прячутся за «сложной душой» и берут чужую заботу как должное. Третьи оказываются в паре с себе подобными, и тогда начинается самое страшное и самое смешное: двое пустых колодцев бросают друг в друга камни и слушают эхо.

Поэтому в новелле четыре части. В первой голодна она, а он нет. Во второй голоден он, а она нет. В третьей голодны оба. В четвёртой они выросли и пытаются понять, как с этим жить. И в эпилоге слово получают те, кого в таких историях обычно оставляют за кадром: люди, которые выжили, ушли и построили нормальную, негромкую жизнь, которая, оказывается, тоже бывает интересной.

Русская литература знала этих героев задолго до того, как

у них появились диагнозы. Читатель, любящий Лермонтова, узнает Печорина с его вечным «мне скучно». Читатель Достоевского услышит в монологах героини надрыв Настасьи Филипповны и Катерины Ивановны. Любитель Бунина, возможно, заметит тени «тёмных аллей». Я не стремился цитировать, скорее вступал в разговор с ними, потому что разговор этот не закончен.

Теперь о прошлом героини. Её история рассказана так, как она сама её рассказывает: с неровностями, с разными версиями одних и тех же деталей, с провалами. Я сознательно не пытался ничего проверять и ничего объяснять. Читатель сам решит, что в ней правда, что фантазия, а что защита. Я лишь знаю, что боль, о которой человек говорит недоговаривая, часто настоящее той, о которой говорят подробно. Эта боль объясняет многое, но не оправдывает ничего, и история не делает вид, что оправдывает.

Мне важно, что здесь нет виноватых и нет судей. Нет морали в конце и нет совета, как поступать. Есть люди, которые любят неловко, больно и честно, как умеют. Если вы узнаете в них кого-то знакомого, соседа, бывшего, родственника, друга или себя в какую-то из бессонных ночей, значит, история эта писалась не зря.

Имена не имеют значения. Город тоже. Важно, что в любом общежитии, в любой стране, на любом этаже есть окно, которое горит дольше остальных.

Часть первая. Глеб

Она появилась на кухне третьего этажа в половине двенадцатого ночи, в октябре, босиком, в тонком чёрном платье, с мокрыми волосами, от которых по спине расползалось тёмное пятно. На общежитской кухне в такое время сидят те, кому некуда деться: двое с заочного, перебиравшие что-то в телефонах, и Глеб, который в третий раз за вечер пытался доварить гречку, сгоревшую ещё при первом подходе.

— Ты это ешь? — спросила она с порога.

— Пока не решил.

— Не ешь. Это месть, а не еда.

Она села на подоконник, подтянула колени, и Глеб увидел, что у неё синие губы. Он потом много раз вспоминал: синие губы, ногти тоже синие, и ни одной жалобы. Она не просила. Она просто сидела и дрожала красиво, как дрожат на картинах, где всё заранее рассчитано.

Он снял свою куртку, армейскую, болотного цвета, единственную, в которой прожил две зимы, и положил рядом с ней на подоконник. Не накинул, а положил. Накинуть было бы жестом, а он этого побаивался.

— Я Алёна, — сказала она, надевая куртку так, будто та всегда принадлежала ей.

— Глеб.

— Я знаю. Ты с юрфака, живёшь в 314-й, у тебя вечно

открыто окно. Я вижу со двора.

— Ты за мной следила?

— Я смотрела на единственное горящее окно в этом бараке, — сказала она. — Не обольщайся.

Он и не обольщался. Он вообще не умел обольщаться, и в этом была вся его беда и, как выяснится позже, вся его ценность.

Глеб был высокий, метр девяносто, и узкий, как карандаш, которому забыли заточить конец. Волосы тёмно-рыжие, на солнце почти красные, а в помещении просто неопределённые. Веснушки шли от лица по шее и дальше, до самых запястий, так что казалось, будто кто-то брызнул на него чаем и забыл вытереть. Нос был сломан в четырнадцать лет хоккейной шайбой и сросся с лёгким поворотом влево. Через левую бровь шёл белый шрам: упал с лестницы у бабушки. Уши слегка торчали. На большом пальце правой руки сидело серебряное кольцо, дедовское, слишком большое, и он вертел его, когда не знал, что сказать. Пахло от него стиральным мылом и холодом. Он носил одну и ту же куртку и одни и те же ботинки, не из аскезы, а потому что всё остальное ещё лежало у матери в кладовке, куда он не решался приехать.

Мать вышла замуж во второй раз, когда ему было пятнадцать. У неё родилась девочка, и в новой квартире не оказалось комнаты, которую можно было бы назвать его. Отец платил алименты и присылал на день рождения открытку с котиком и подписью «Бодрись, сын!». Бабушка умерла на

втором курсе колледжа. Глеб не жаловался. Он давно понял: если у тебя ничего нет, самое надёжное — отдавать. Тогда хотя бы понятно, чем ты располагаешь.

— Хочешь, я тебе яичницу сделаю? — спросил он.

— Хочу. — Она улыбнулась. — Хочу, чтобы ты мне сделал яичницу, и чтобы это было самое важное, что ты делал сегодня.

Он сделал. Это правда было самое важное, что он делал сегодня.

На третьей неделе она сообщила, что её на самом деле зовут Лизель.

— Вообще-то Лизель, — сказала она на лестнице, не оборачиваясь, как говорят о погоде. — Алёна — это для вахтёрши. И для деканата.

— Ты же говорила, что родилась в России.

— Я говорила, что родилась. А жила в Германии. До пятнадцати лет. Дядя с тётей, у них замок под Гейдельбергом, настоящий, с башней. Там балы были. Пиры. Меня одевали как принцессу. В пять лет я знала, как держать вилку для рыбы.

— А родители?

— Родители. — Она задумалась на ступеньке. — Родители — это отдельная история, и она не для лестницы.

Глеб кивнул. Он научился не задавать второй вопрос. У

неё имелся странный талант: любой вопрос она превращала в дверь, за которой ждала целая анфилада комнат, но заходить нельзя. Можно только стоять на пороге и догадываться по сквозняку.

Но ночью, в его узкой комнате, когда в окно дул ноябрьский ветер, она заговорила сама. Лежала на боку, глядя в стену, и рассказывала ровно, почти скучающе, как рассказывают про чужую страну. В замке были гости. Много гостей. Взрослые, старики, мальчик одиннадцати лет, сын чьих-то друзей. Некоторые из них были добрыми по отношению к ней не так, как положено. Она не называла слов. Она говорила «любили меня неправильно», «трогали, где не надо», и от этих двух простых фраз у Глеба холодело в груди, потому что он слушал, а потом осознавал, что слушает не лицо, а затылок.

— Потом Россия. В пятнадцать. Совсем чужая, ничего не понятно. И там тоже, — она не договорила. — Знаешь, что самое страшное?

— Нет.

— Что я привыкла. Не к этому. К тому, что на меня всегда смотрят. Что от меня всегда чего-то хотят. Ты понимаешь? Когда на тебя смотрят — больно. Но когда не смотрят — ещё хуже. Когда не смотрят, меня нет.

Глеб осторожно положил ладонь ей на лопатку. Она не вздрогнула, но чуть подалась назад, ровно настолько, чтобы он понял: можно.

Потом он заметит, что в первый раз замок был на сорок комнат, а в третий на двести. Что гейдельбергская башня в одной версии была круглая, а в другой квадратная. Что дядя то хромал, то нет. Он промолчит. Он решит: человек, у которого украли детство, не обязан хранить протокол. Он решит, что память — это раненое животное, и нельзя требовать от неё, чтобы она шла ровно.

Позже он не будет знать: сочиняла она, или помнила так, как помнят те, кому пришлось вспоминать слишком часто и слишком по-разному, или и то и другое. И самое странное — это не будет иметь значения.

Она плавала. В шесть утра, в университетском бассейне, который для всех остальных открывался в девять. С двенадцати лет, говорила она, триатлон: вода, велосипед, бег. Она могла отплыть полтора километра, потом три часа отдыхать, а потом вдруг вскочить посреди лекции и уйти, потому что у неё внутри что-то зазвенело.

Потом звенело у Глеба.

— Ты опоздал на семь минут, — сказала она однажды у входа в корпус.

— Лекция затянулась…

— Семь минут. Я стояла здесь семь минут и смотрела на дверь. Знаешь, что я думала?

— Что?

— Что ты больше не придёшь. Что ты передумал. Что ты нашёл кого-то, у кого глаза поспокойнее.

— Лиза…

— Лизель.

— Лизель, мы знакомы три недели.

Это была ошибка. Он понял это сразу, по тому, как изменилось её лицо: не обида, нет, а что-то вроде расцветающей радости, радости человека, наконец получившего сигнал. Она закричала. Не громко: она не кричала, она говорила тихо и страшно, подбирая слова, как хирург подбирает инструменты. Что «три недели» — это приговор. Что он просто ждал повода. Что все они ждут повода. Что она так и знала. Что надо было слушать себя.

Глеб стоял и молчал, а вокруг шли студенты, и кто-то обернулся, и кто-то ухмыльнулся. Он вертел кольцо на пальце. Через десять минут он уже просил прощения, и вот чему он по-настоящему удивился: он просил искренне, как будто и впрямь был виноват. В чём-то. Не в семи минутах, а в чём-то большем, что она одна видела и что ему предстояло понять.

Вечером она пришла к нему с пакетом мандаринов и была нежной. Такой нежной, что он снова не мог поверить, что это тот же человек. Она чистила мандарины и складывала дольки ему в ладонь, и приговаривала: «Ты мой, ты мой хороший, ты единственный», и он смеялся, и в горле у него стоял ком, который он принимал за счастье.

Но потом он перестал высыпаться.

Это происходило незаметно. Сперва он засыпал в два, затем в три. Она писала ему среди ночи: «Ты спишь?» Он отвечал: «Нет». Она писала: «Значит, думаешь о ней». «О ком?» «О той, которая у тебя есть». Он прикладывал палец к виску и чувствовал, что там что-то бьётся, ровно и глухо, как мотор в соседней квартире.

К декабрю он похудел на шесть килограммов. Подхватил какую-то вязкую простуду, которая не уходила, а лишь меняла форму: то горло, то кашель, то ломота в костях. На семинаре по гражданскому праву он забыл, как называется срок исковой давности, хотя вчера повторял его до полуночи. Староста спросила: «Глеб, ты в порядке?» Он ответил: «Всё нормально». И понял, что это слово, «нормально», стало для него чем-то вроде пароля, который произносят у закрытой двери.

Когда у него поднялась температура до тридцати девяти, она сидела у кровати, держала его за руку и говорила, что ужасно за него боится. Он видел, что она действительно боится. Потом она посмотрела на часы и сказала:

— Мне нужно плыть. Я вернусь.

— Конечно, — сказал он. — Иди.

— Ты же не обидишься?

— Нет.

— Ты скажешь, что обидишься. Скажи.

— Я не обижусь, — прохрипел он.

Это было не то, что она хотела. Она ушла, хлопнув дверью чуть сильнее, чем требовалось, и Глеб лежал, глядя в потолок с жёлтым разводом, похожим на карту материка, на котором ему не бывать. Он слышал, как внизу кто-то включил воду. Как кто-то смеялся. Как далеко-далеко, на краю сознания, звонил чужой телефон. И вдруг подумал, с отчётливостью, которая бывает только в лихорадке: *я, кажется, уже давно не принадлежу себе, и мне от этого не страшно. Мне от этого — спокойно*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.